

# Глава IX. Осевое время (800 год до н. э. — 600 год)

*« Это время мы вкратце будем называть «осевым временем». В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии... В Индии возникли Упанишады, жил Будда; в философии — в Индии, как и в Китае, — были рассмотрены все возможности философского постижения действительности, вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма.*

*Карл Ясперс. Введение в философию*

Словосочетание «осевое время» принадлежит немецкому философу-экзистенциалисту Карлу Ясперсу[473]. Когда он писал свою историю философии, его поразило тот факт, что такие мыслители, как Пифагор (570–495 годы до н. э.), Будда (563–483 годы до н. э.) и Конфуций (551–479 годы до н. э.), жили в одно время и что в Греции, Индии и Китае той эпохи неожиданно разгорелись споры между соперничавшими философскими школами, хотя каждая из них, судя по всему, не подозревала о существовании других. Почему это произошло, было такой же загадкой, как и синхронное изобретение чеканки монет. Сам Ясперс не был полностью уверен в ответе. До определенной степени, полагал он, это было обусловлено схожими историческими условиями. Для большинства великих городских цивилизаций ранний железный век стал перерывом между империями, временем, когда политический пейзаж распался на множество мелких царств и городов-государств, большинство из которых постоянно вели внешние войны и жили в условиях бесконечных внутренних политических споров. В каждом случае получила развитие своего рода маргинальная культура — аскеты и мудрецы уходили в глушь или скитались между городами в поисках мудрости; в каждом случае они в конце концов включались в существующий политический порядок в качестве новой интеллектуальной или духовной элиты — так было и с греческими софистами, и с иудейскими пророками, и с китайскими мудрецами, и с индийскими святыми.

Какими бы ни были причины, пишет Ясперс, результатом стал первый в истории период, когда люди применили принципы логики для рассмотрения ключевых вопросов человеческого существования. Он отметил, что во всех великих регионах мира — в Китае, Индии и Средиземноморье — возникли на удивление схожие философские учения, от скептицизма до идеализма, — по сути, почти все воззрения на природу мироздания, разум, душу и цели человеческого существования, которые остаются в центре внимания философии и по сей день. Как несколько позже говорил один из учеников Ясперса, лишь

немного преувеличивая, «с тех пор никаких по-настоящему новых идей так и не появилось»[474].

По мнению Ясперса, этот период начинается с персидского пророка Зороастра, жившего около 800 года до н. э., и завершается около 200 года до н. э., после чего начинается Духовная эпоха, ключевыми фигурами которой стали Иисус и Мухаммед. Для моего исследования имеет смысл объединить эти две эпохи в одну, поэтому за Осевое время мы примем период с 800 года до н. э. по 600[475]. Тогда на Осевое время придется не только возникновение ведущих мировых философских учений, но и появление всех сегодняшних мировых религий: зороастризма, иудаизма пророков, буддизма, джайнизма, индуизма, конфуцианства, даосизма, христианства и ислама[476].

Внимательный читатель мог заметить, что начальный этап Осевого времени Ясперса — время жизни Пифагора, Конфуция и Будды — почти точно соответствует тому периоду, когда была изобретена чеканка. Более того, эти мудрецы жили именно в тех трех частях мира, где впервые появились монеты; действительно, эпицентрами религиозного и философского творчества Осевого времени стали царства и города-государства, расположенные вдоль Желтой реки в Китае, в долине Ганга в Северной Индии и на берегах Эгейского моря.

Есть ли здесь связь? Мы могли бы начать с вопроса: а что такое монета? Обычное определение гласит, что монета — это кусок драгоценного металла, которому придана стандартизированная форма и подлинность которого подтверждается отчеканенной на нем эмблемой или знаком. Первые монеты в мире, по-видимому, были изготовлены в Лидийском царстве, располагавшемся в Западной Анатолии (современная Турция), около 600 года до н. э.[477] Первые лидийские монеты представляли собой простые круглые кусочки сплава золота и серебра, который добывали в близлежащей реке Пактол, затем разогревали и наносили определенную эмблему при помощи молота. Самые первые монеты, на которых было всего лишь несколько букв, судя по всему, изготавливались обычными ювелирами, но такая практика почти сразу же исчезла; на смену ей пришла чеканка на созданном царском монетном дворе. Греческие города, расположенные на побережье Анатолии, скоро начали производить собственные монеты; затем эту практику переняли и города в самой Греции; то же произошло и в Персидской империи, которая завоевала Лидию в 547 году до н. э.

В Индии и в Китае мы наблюдаем ту же модель: чеканка, изобретенная частными лицами, быстро становилась монополией государства. Первые индийские монеты, появившиеся в VI веке, представляли собой обточенные серебряные болванки одинакового веса, на которые кернером наносился какой-то официальный символ[478]. На большей части образцов, обнаруженных археологами, имеются дополнительные отметки, которые, возможно, выполняли ту же роль, что и подпись, которую ставят на чеке или другом кредитном документе. Это позволяет предположить, что их использовали люди, привыкшие иметь дело с более абстрактными кредитными инструментами[479]. Многие ранние китайские монеты возникли напрямую из социальных денег: некоторые из них отливались из бронзы в форме раковин каури, другие — в виде миниатюрных ножей, дисков или клинков. В любом случае местные правительства быстро прибрали это дело к рукам — вероятно, в течение жизни одного поколения[480]. Однако во всех трех регионах было множество мелких государств,

что в конечном счете привело к возникновению разнообразных денежных систем. Например, около 700 года до н. э. Северная Индия была разделена на джанапады, или «племенные территории», одни из которых были монархиями, другие — республиками, а в VI веке оставалось еще по меньшей мере 16 крупных княжеств. В Китае это было время, когда старая империя Чжоу распалась на соперничающие княжества («период Весен и Осеней», 722–481 годы до н. э.), после чего наступил хаос периода Сражающихся царств (475–221 годы до н. э.). Как и греческие города-государства, все вновь появившиеся царства, вне зависимости от размера, стремились иметь собственную монету.

Недавние исследования пролили свет на то, как всё это происходило. Золото, серебро и бронза — те материалы, из которых делались монеты, — издавна использовались в международной торговле; однако до описываемой эпохи только богачи могли располагать ими в больших количествах. Обычному шумерскому крестьянину вряд ли доводилось когда-либо держать в руках много серебра — разве что на собственной свадьбе. Драгоценные металлы в основном шли на изготовление женских ножных браслетов и чашей, которые короли дарили своим вассалам и которые затем передавались по наследству или же просто хранились в храмах в виде слитков в качестве обеспечения кредитов. С началом Осевого времени всё это стало меняться. Произошла, как любят говорить экономисты, детезаврация большого количества серебра, золота и меди; из храмов и домов богачей они попали в руки обычных людей и, разделенные на небольшие кусочки, стали использоваться в повседневных сделках.

Как это произошло? Израильский исследователь Античности Дэвид Шапс высказал наиболее правдоподобное предположение: бóльшую часть металла выкрали. Это было время постоянных войн, а на войне ценные вещи расхищают.

“ Солдаты-мародеры сначала тратят деньги на женщин, выпивку или еду, но затем они начинают искать ценные вещи, которые легко унести. Постоянно действующая армия накапливает множество ценных вещей, которые легко унести, — первыми в их числе являются драгоценные металлы и камни. Возможно, следствием продолжительных войн между государствами в этих регионах стало то, что на руках у широких слоев населения оказались драгоценные металлы, при помощи которых они могли удовлетворять свои повседневные потребности...

Там, где есть люди, желающие покупать, всегда найдутся те, кто хочет продавать, как показывают многочисленные исследования, посвященные черному рынку, торговле наркотиками и проституции... Постоянные войны в Греции архаической эпохи, в индийских княжествах, в Сражающихся царствах в Китае были мощным стимулом для развития рыночной торговли, в особенности для рыночной торговли, основанной на обмене драгоценными металлами, как правило в небольших количествах. Благодаря грабежам драгоценные металлы попадали в руки солдат, а рынок затем распространял их среди населения[481].

Мне могут возразить: но ведь война и грабежи не были внове. В гомеровском эпосе, например, герои фактически одержимы идеей раздела добычи. Это так, но в Осевое время и в Китае, и в Индии, и на берегах Эгейского моря появилась армия нового типа, которую составляли не воины-аристократы и их вассалы, а вымуштрованные профессионалы. В ту эпоху, когда греки стали использовать монеты, появилась знаменитая греческая фаланга, которая требовала от гоплитов постоянной муштры и тренировки. Профессионализация военного дела позволила добиться таких результатов, что вскоре греческие наемники оказались востребованы на всем пространстве от Египта до Крыма. Однако, в отличие от гомеровских вассалов, которых можно было просто игнорировать, армию из вышколенных наемников нужно было вознаграждать чем-то стоящим. Можно было всем им дать скот, однако скот трудно перевозить; можно было расплатиться простыми векселями, но они не имели никакой ценности на родине наемников. Самым очевидным решением было поделить с каждым из них небольшой долей добычи.

Эти новые армии прямо или косвенно находились под контролем правительств, которым пришлось приложить большие усилия, чтобы превратить металлические болванки в настоящие деньги. Главной причиной такой роли правительств был масштаб: изготовление количества монет, достаточного для того, чтобы люди могли использовать их в повседневной жизни, требовало массового производства, которое находилось за пределами возможностей местных купцов или кузнецов[482]. Мы уже выяснили, что стимулировало правительства так поступать: существование рынков было для них очень выгодным — и не только потому, что они заметно облегчали задачу снабжения постоянных армий. Принимая только свои собственные монеты в качестве уплаты штрафов, пеней и налогов, правительства сумели вытеснить многочисленные социальные деньги, которые уже существовали во внутренних районах, и создать некое подобие единого национального рынка.

Действительно, согласно одной теории, самые первые лидийские монеты были изобретены специально для оплаты наемников[483]. Этим можно объяснить, почему греки, из числа которых наемники в основном и вербовались, так быстро привыкли к монетам и почему чеканка настолько быстро распространилась в греческом мире, что уже к 480 году до н. э. в различных полисах действовала по меньшей мере сотня монетных дворов, несмотря на то что ни один из ведущих торговых народов Средиземноморья еще не проявлял к ним ни малейшего интереса. Например, финикийцы считались главными купцами и банкирами Древности[484]. Они также были великими изобретателями — именно они придумали алфавит и абак. Тем не менее в течение нескольких столетий после изобретения чеканки они предпочитали вести дела по старинке, используя необработанные слитки и простые векселя[485]. Финикийские города не чеканили монету до 365 года до н. э., а Карфаген, крупнейшая финикийская колония в Северной Африке, добившаяся господства в торговле в Западном Средиземноморье, если и стал выпускать свою монету немного раньше, то лишь «из-за необходимости платить сицилийским наемникам; причем надписи на них делались на карфагенском языке, „для простых людей“»[486].

С другой стороны, в условиях насилия Осевого времени быть «великой торговой нацией» (а не, скажем, агрессивной военной державой вроде Персии, Афин или Рима) представлялось не лучшим выбором. Судьба финикийских городов в этом отношении поучительна. Сидон,

самый богатый из них, был разрушен персидским царем Артаксерксом III после восстания в 351 году до н. э. Сорок тысяч его жителей предпочли сдаче массовое самоубийство. Девятнадцать лет спустя Тир был разрушен Александром Македонским после продолжительной осады: десять тысяч человек погибло в бою, тридцать тысяч выживших жителей было продано в рабство. Карфаген продержался дольше, но когда в 146 году до н. э. римская армия разрушила и его, сотни тысяч карфагенян были ограблены и перебиты, а пятьдесят тысяч пленников были проданы на рынке, после того как сам город сровняли с землей, а его поля засеяли солью.

Всё это показывает уровень насилия, царивший в начале Осевого времени[487]. Но это также ставит вопрос: какая долгосрочная связь существовала между чеканкой, военной силой и этим невиданным прежде расцветом идей?

## Средиземноморье

И по этому вопросу наиболее полные сведения нам дает мир Средиземноморья, который я уже отчасти обрисовал. Сравнивая Афины с их обширной морской империей и Рим, мы можем сразу отметить удивительно схожие черты. В обоих городах история начинается с ряда долговых кризисов. В Афинах первый кризис, завершившийся реформами Солона в 594 году до н. э., произошел так рано, что чеканка вряд ли могла оказать на него влияние. В Риме самые ранние кризисы, видимо, тоже предшествовали появлению денег. В обоих случаях чеканка скорее стала решением проблемы. Вкратце можно сказать, что у этих долговых конфликтов было два решения. Первое заключалось в победе аристократов — тогда бедняки оставались «рабами богачей»; на практике это означало, что большинство людей рано или поздно становились клиентами того или иного состоятельного патрона. Такие государства, как правило, были неэффективными в военном отношении[488]. Вторым вариантом была победа народных фракций, которые осуществляли обычные программы перераспределения земли и принимали меры против долговой кабалы, создавая тем самым класс свободных крестьян, дети которых могли посвящать большую часть времени подготовке к войне[489].

Чеканка монет играла ключевую роль в поддержании свободного крестьянства, уверенно распоряжавшегося своими наделами и не связанного ни с одним крупным землевладельцем узамы долга. На самом деле налоговая политика многих греческих городов редко была чем-то большим, чем разветвленная система распределения добычи. Важно подчеркнуть, что лишь немногие города — если такие вообще были — зашли настолько далеко, что полностью отменили ростовщическое кредитование или долговую кабалу. Вместо этого они решили проблему деньгами. Золото и особенно серебро приобреталось на войне или добывалось рабами, захваченными на войне в плен. Монетные дворы располагались в храмах (традиционных местах хранения трофеев), и полисы разработали множество способов распределения монет не только среди солдат, моряков, производителей оружия или корабелов, но и среди населения в целом — посредством платы за работу присяжным, за посещения народных собраний или путем прямой раздачи денег, как это было в Афинах, после того как была обнаружена новая серебряная жила в Лаврии в 483 году до н. э. В то же время требование использовать те же монеты для всех платежей государству обеспечивало

на них спрос, достаточный для развития рынков.

Причиной многих политических кризисов в древнегреческих городах становилось распределение трофеев. Вот как Аристотель, придерживающийся здесь консервативной точки зрения, описывает истоки переворота, произошедшего в городе Родос около 391 года до н. э. (под демагогами в данном случае подразумеваются демократические лидеры):

“ Демагогам были нужны деньги для выплат народу за участие в народном собрании и за работу присяжными; потому что если бы люди перестали на них ходить, то демагоги утратили бы свое влияние. Они собрали часть от необходимой суммы, не позволив выделить средства капитанам (боевых) триер, которые согласно договору, заключенному с городом, должны были построить и оснастить триеры для родосского флота. Поскольку капитанам триер не платили, они, в свою очередь, не могли заплатить своим поставщикам и рабочим, которые подали на них жалобу. Чтобы избежать судебных тяжб, капитаны триер объединились и свергли демократию[490].

Однако возможным всё это сделало рабство. Как показывают цифры, касающиеся Сидона, Тира и Карфагена, в рабство попадало огромное количество людей, и многие рабы, разумеется, оказывались на рудниках, где добывали еще больше золота, серебра и меди. (По данным источников, на Лаврийских рудниках было занято от десяти до двадцати тысяч рабов[491].)

Джеффри Ингем называет эту систему «военно-монетным комплексом», хотя, на мой взгляд, точнее ее было бы назвать «военно-монетно-рабским комплексом»[492]. Такое название прекрасно показывает, как всё это работало на практике. Александр, решив завоевать Персидскую империю, занял большую часть денег, необходимых для оплаты и снабжения войск, и отчеканил свои первые монеты, которые пошли на уплату кредиторам и на поддержку денежной системы, расплавив золото и серебро, награбленное после первых побед[493]. Однако экспедиционной армии нужно было платить, и платить хорошо: армии Александра, насчитывавшей около 120 тысяч человек, требовалось полтонны серебра в день только на выплаты солдатам. Поэтому завоевание означало, что существовавшую персидскую систему рудников и монетных дворов нужно было реорганизовать для удовлетворения нужд наступающей армии; а на старых рудниках работали, разумеется, рабы. В свою очередь, большинство рабов, трудившихся на рудниках, были военнопленными. Вероятно, большинство несчастных жителей Тира, выживших после осады, оказались на таких рудниках. Очевидно, что этот процесс поддерживал сам себя[494].

Александр также разрушил то, что оставалось от древних кредитных систем, поскольку новой монетной экономике сопротивлялись не только финикийцы, но и старый месопотамский центр. Его армии не только уничтожили Тир; они еще и разграбили золотые и серебряные резервы вавилонских и персидских храмов, которые служили обеспечением этих кредитных систем, и стали требовать, чтобы все налоги новому правительству уплачивались им же выпускавшимися деньгами. В результате «в течение несколько месяцев

на рынок были выброшены запасы металлов, накапливавшиеся веками» на сумму около 180 тысяч талантов, или, в современном исчислении, порядка 285 миллиардов долларов[495].

Эллинистические государства, созданные военачальниками Александра на пространстве от Греции до Индии, больше опирались на наемников, чем на национальные армии, однако история Рима в этом отношении тоже похожа на афинскую. Ранняя римская история, как следует из трудов официальных летописцев вроде Тита Ливия, была отмечена борьбой между патрициями и плебеями и постоянными кризисами, разгоравшимися вокруг долгов. Периодически это приводило к так называемой сецессии плебса, когда простолюдины покидали свои поля и мастерские, становились лагерем за пределами города и угрожали массовым уходом, — интересный промежуточный вариант между народными восстаниями в Греции и стратегией исхода, характерной для Египта и Месопотамии. Здесь патрициям тоже приходилось делать выбор: они могли либо использовать сельскохозяйственные ссуды, для того чтобы постепенно превратить плебеев в класс закабаленных работников, обрабатывавших их поля, либо уступить требованиям народа защитить их от долгов, сохранить свободное крестьянство и использовать сыновей свободных крестьян в качестве солдат[496]. Как показывает длительная история кризисов, сецессий и реформ, патриции сделали свой выбор неохотно[497]. Плебеям пришлось практически заставить сенаторов принять имперский вариант. Патриции это сделали и постепенно установили систему социальной защиты, которая перераспределяла хотя бы часть трофеев солдатам, ветеранам и их семьям.

В свете этого представляется показательным, что традиционная дата начала чеканки римских монет, 338 год до н. э., почти точно совпадает с окончательным запретом долговой кабалы (326 год до н. э.)[498]. И вновь чеканка монет, родившаяся из военных трофеев, не вызвала кризис, а была использована для его решения.

На самом деле всю Римскую империю в момент ее расцвета можно рассматривать как огромный механизм, добывавший драгоценные металлы, изготавливавший из них монеты и распределявший их среди военных, — с ним сочеталась политика налогообложения, призванная подтолкнуть покоренное население использовать монеты в повседневных сделках. Но даже в этих условиях на протяжении большей части римской истории использование монет в основном ограничивалось двумя регионами: Италией и несколькими крупными городами, а также приграничными областями, где были расквартированы легионы. В областях, где не было рудников и не велись военные действия, по-видимому, продолжали функционировать старые кредитные системы.

Добавлю к этому последнее замечание. В Греции, как и в Риме, попытки решить долговой кризис путем военной экспансии всегда лишь откладывали проблему и действовали на протяжении ограниченного периода времени. Когда экспансия заканчивалась, всё возвращалось на свои места. Неизвестно, были ли все формы долговой кабалы полностью искоренены даже в таких городах, как Афины и Рим. В городах, не являвшихся успешными военными державами и не имевших источников доходов для проведения социальной политики, долговые кризисы, как и прежде, вспыхивали каждое столетие и зачастую принимали намного более острые формы, чем на Ближнем Востоке, поскольку, за исключением настоящей революции, здесь не существовало механизма «чистого листа» в

месопотамском стиле. Широкие слои населения даже в греческом мире опускались до уровня крепостных и клиентов[499].

Афиняне, как мы видели, полагали, что благородный человек обычно находился в постоянной зависимости от своих кредиторов. Положение римских политиков было несколько иным. Конечно, значительную часть долга представляли собой деньги, которые должны были друг другу представители сенаторского класса: до определенной степени это был обычный коммунизм богатых, одалживавших друг другу деньги на выгодных условиях, которые они не стали бы предлагать никому другому. Однако от времен поздней Республики до нас дошли рассказы о многочисленных интригах и заговорах отчаявшихся должников, зачастую аристократов, которых беспощадные кредиторы доводили до того, что они выступали заодно с бедняками[500]. От эпохи императоров до нас дошло меньше таких историй, вероятно, потому, что и возможностей для протеста стало меньше; однако, судя по имеющимся у нас данным, проблема только усугубилась[501]. Плутарх писал о своей собственной стране так, будто она подверглась чужеземному завоеванию:

“ Дарий послал в Афины Датиса и Артаферна с цепями и веревками для пленников в руках, подобным образом и они (ростовщики), нося по Элладе, словно кандалы, полные мешки расписок и долговых обязательств, посещают и объезжают города...

Давши, они тут же требуют обратно и, получив, берут и дают в долг то, что взяли с должника сверх отданного ему взаймы.

Ну конечно, они смеются над физиками, говорящими, что ничто из ничего не рождается, потому что у них-то прибыль рождается от того, что еще не существует или еще не получено[502].

В трудах отцов ранней христианской церкви также приводятся бесчисленные описания нищеты и отчаяния тех, кто попался в лапы богатых заимодавцев. В конце концов благодаря этим методам маленькое окошко свободы, проделанное плебсом, закрылось, а свободное крестьянство в значительной части исчезло. На исходе существования империи большинство сельских жителей, не являвшихся полноценными рабами, оказались в долговой кабале у богатых землевладельцев — в конце концов этой ситуации придали законный характер императорские указы, привязывавшие крестьян к земле[503]. В отсутствие свободного крестьянства, составлявшего прежде костяк армии, государство было вынуждено во всё возрастающих масштабах нанимать и вооружать германских варваров для защиты границ империи — о результатах такой политики вряд ли стоит рассказывать.

## Индия

В большинстве аспектов индийская цивилизация кардинально отличается от Средиземноморья, однако и здесь в значительной степени воспроизводится та же базовая

модель.

Цивилизация, существовавшая в долине Инда в бронзовом веке, погибла около 1600 года до н. э.; следующая городская цивилизация возникла в Индии лишь около тысячи лет спустя. Она располагалась намного восточнее прежней, на плодородных равнинах вдоль берегов Ганга. Здесь мы тоже обнаруживаем множество различных видов государств — от знаменитых «республик кшатриев», где простой народ носил оружие и проводились городские демократические собрания, до выборных монархий и централизованных империй вроде Кошалы и Магадхи[504]. И Гаутама (будущий Будда), и Махавира (основатель джайнизма) родились в таких республиках, но затем стали проповедовать в великих империях, правители которых часто покровительствовали странствующим аскетам и философам.

И царства, и республики чеканили собственные серебряные и медные монеты, но республики были более традиционными, поскольку самоуправляющийся «вооруженный простой народ» состоял из представителей традиционной касты кшатриев, или воинов, которые сообща владели землей, обрабатывавшейся крепостными или рабами[505]. Царства, в свою очередь, опирались на совершенно новый институт — вышколенную профессиональную армию, открытую для молодых людей самого разного происхождения, которых центральные власти обеспечивали снаряжением (солдаты были обязаны проверять свое оружие и доспехи, когда вступали в города) и щедрым жалованьем.

Каким бы ни было происхождение монет и рынков, они и здесь появились прежде всего для того, чтобы подпитывать военную машину. Магадха сумела в конечном счете одержать верх, потому что контролировала большую часть рудников. В своем политическом трактате «Артхашастра» Каутилья, один из министров династии Маурьев, правившей в 321–185 годах до н. э., говорил об этом четко: «Рудники суть опора казны, благодаря казне снаряжается войско, благодаря казне и войску добывается земля, украшением которой является казна»[506]. Правительство набирало кадры прежде всего из класса землевладельцев, из которого выходили обученные управленцы, но в первую очередь постоянные солдаты: заработки военных и управленцев всех рангов были четко прописаны. Такие армии могли быть огромными. Греческие источники утверждают, что Магадха могла выставить на поле боя войско численностью двести тысяч пехотинцев, двадцать тысяч всадников и около четырех тысяч боевых слонов и что солдаты Александра взбунтовались, не желая выступить против них. И в походах, и в гарнизонах военных сопровождали различные гражданские лица — мелкие торговцы, проститутки и наемные слуги, бывшие, наряду с солдатами, теми посредниками, благодаря которым произошло становление денежной экономики[507]. Пару столетий спустя, во времена Каутильи, государство вмешивалось во все детали этого процесса: Каутилья рекомендует платить солдатам жалованье, кажущееся щедрым, а затем тайно заменить коробейников агентами правительства, которые будут брать с них двойную цену за продовольствие, и подсылать к ним проституток, которые будут находиться под контролем министра и служить шпионами, подробно докладывая о настроениях своих клиентов.

Так правительство подмяло под себя рыночную экономику, родившуюся в условиях войны. Этот процесс не сдержал использование денег, а, напротив, удвоил или даже утроил их

количество в обращении: военная логика распространилась на всю экономику, поскольку правительство обустроивало амбары, мастерские, торговые дома, склады и тюрьмы, в которых служили чиновники, получавшие жалованье, и продавало все товары на рынке, для того чтобы собирать серебряные монеты, выплачиваемые солдатам и чиновникам, и возвращать их обратно в царскую казну[508]. Результатом стала такая монетаризация повседневной жизни, аналогов которой впоследствии в Индии не было на протяжении двух тысяч лет[509].

Нечто подобное произошло и с рабством. Обычное явление во времена появления великих армий (в отличие от всех прочих этапов индийской истории), оно постепенно оказалось под контролем правительства[510]. Во времена Каутильи большую часть военнопленных не продавали на рынке, а селили в правительственных деревнях на вновь освоенных землях. Им не разрешалось покидать эти деревни, которые, судя по установленным в них правилам, были весьма мрачными местами: настоящие трудовые лагеря, где были официально запрещены любые виды праздничных развлечений. Наемными работниками по большей части были каторжники, которых государство сдавало в аренду на время срока их заключения.

Новые индийские цари, опиравшиеся на армии, шпионов и вездесущую администрацию, не проявляли особого интереса к старой касте священников и ее ведическим ритуалам, хотя многие монархи живо интересовались новыми философскими и религиозными идеями, которые в те времена рождались повсюду. Однако с течением времени военная машина начала давать сбои. Причины этого не очень ясны. При императоре Ашоке (273–232 годы до н. э.) династия Маурьев контролировала территорию почти всей современной Индии и Пакистана, но индийская версия военно-монетно-рабского комплекса демонстрировала явные признаки перенапряжения. Самым очевидным свидетельством этого была порча монеты, которая изначально делалась из чистого серебра, а два столетия спустя наполовину состояла из меди[511].

Ашока, как известно, начал свое правление с завоевания: в 265 году до н. э. он уничтожил Калингу, одну из последних индийских республик; в этой войне, по его собственному описанию, сотни тысяч людей были убиты или уведены в рабство. Позднее Ашока утверждал, что был настолько потрясен и испуган этой бойней, что полностью отказался от войны, принял буддизм и провозгласил, что отныне его царство будет управляться на основе принципов ахимсы, или ненасилия. «В моем государстве, — провозглашал он в указе, высеченном на одной из больших гранитных колонн в его столице Патне, которая так поразила греческого посла Мегасфена, — людей нельзя ни убивать, ни приносить в жертву»[512]. Разумеется, это утверждение не стоит воспринимать буквально: Ашока, конечно, мог заменить ритуальные жертвоприношения вегетарианскими пирами, но он не стал распускать армию, не отказался от смертной казни и даже не объявил рабство вне закона. Однако его правление обозначило революционные изменения в этике. Он отказался от ведения агрессивных войн, значительная часть армии была демобилизована, наряду с сетью шпионов и государственных бюрократов, а новым, быстро растущим нищенствующим орденам (буддистам, джайнам и отвергающим мир индуистам) государство стало оказывать поддержку, с тем чтобы они проповедовали в деревнях социальную нравственность. Ашока и его преемники выделили этим религиозным орденам значительные средства, в результате

чего в последующие столетия на всем субконтиненте выросли тысячи ступ и монастырей[513].

Реформы Ашоки важно рассмотреть, поскольку они показывают, насколько неверны некоторые из наших исходных допущений — прежде всего приравнивание денег к монетам и предположение о том, что чем больше монет находится в обращении, тем больше расширяется торговля и увеличивается роль частных купцов. На самом деле государство Магадха поощряло развитие рынков, но питало подозрение к частным купцам, усматривая в них конкурентов[514]. Купцы были самыми первыми и пламенными приверженцами новых религий (джайны с их строгим предписанием не причинять вреда живым существам были вынуждены превратиться в купеческую касту). Торговые круги всецело поддерживали реформы Ашоки, которые тем не менее привели не к расширению использования наличных денег в повседневных делах, а к ровно противоположному результату.

Отношение раннего буддизма к экономическим вопросам долгое время считалось загадочным. С одной стороны, у монахов не могло быть личной собственности; они должны были вести строгую общинную жизнь и могли владеть только одеянием и чашей для подаяний, им строго запрещалось прикасаться к любому предмету, изготовленному из золота или серебра. С другой стороны, при всей своей нелюбви к драгоценным металлам буддизм всегда довольно либерально относился к кредитным соглашениям. Это одна из немногих великих мировых религий, которая формально никогда не осуждала ростовщичество[515]. Однако если учитывать контекст той эпохи, ничего особо таинственного в таком поведении нет. Оно было совершенно логичным для религиозного движения, которое отвергало насилие и войну, но ни в коей мере не выступало против торговли[516]. Как мы увидим далее, хотя империя Ашоки просуществовала недолго, а на смену ей пришла череда все более слабых и мелких государств, буддизм сумел пустить глубокие корни. Позднее упадок великих армий привел к почти полному исчезновению монет, но при этом обернулся расцветом различных форм кредита, которые с каждым разом становились всё сложнее.

## Китай

Приблизительно до 475 года до н. э. Северный Китай формально продолжал считаться империей, однако императоры стали чисто номинальными фигурами, а империя де-факто распалась на ряд отдельных царств. Период с 475 по 221 год до н. э. вошел в историю как эпоха Сражающихся царств; в это время была отброшена даже видимость единства. В конце концов государство Цинь объединило страну и основало династию, которую вскоре свергла череда массовых народных восстаний, положивших начало династии Хань (206 год до н. э. — 220 год), основанной прежде безвестным сельским чиновником и крестьянским вожаком по имени Лю Бан. Он стал первым правителем Китая, принявшим конфуцианство, систему экзаменов и модель гражданской администрации, которые просуществовали почти две тысячи лет.

Однако золотой век китайской философии пришелся на период хаоса, предшествовавший объединению. Это следовало типичной модели Осевого времени: политическая

раздробленность, появление вымуштрованных, профессиональных армий и создание монет, для того чтобы их оплачивать[517]. Мы наблюдаем здесь ту же политику правительства, направленную на развитие рынков, систему рабского труда, масштабы которой в китайской истории остались непревзойденными, появление странствующих философов и религиозных мистиков, соперничающих философских школ и последующие попытки политических лидеров превратить новые философские течения в государственные религии[518].

Были здесь и существенные отличия, начиная с денежной системы. В Китае никогда не чеканились золотые или серебряные монеты. Купцы использовали драгоценные металлы в виде слитков, а монеты, находившиеся в обращении, были невысокого достоинства: литые бронзовые диски, обычно с дыркой посередине, чтобы их можно было связывать. Такие связки «наличности» производились в невероятных количествах, и для крупных сделок их требовалось очень много: например, когда состоятельные люди хотели сделать храму подношение, им приходилось перевозить деньги на повозках, запряженных волами. Причина появления такой денежной массы, скорее всего, в том, что китайские армии, особенно после объединения страны, были огромными: войска некоторых Сражающихся царств насчитывали до миллиона солдат, но они никогда не были такими профессиональными и хорошо оплачиваемыми, как армии государств, расположенных далеко на запад от Китая; начиная с эпох Цинь и Хань правители заботились о сохранении такого положения, чтобы войско не могло превратиться в независимую силу[519].

Важным отличием было и то, что в Китае новые религиозные и философские движения с самого начала своего существования носили социальный характер, что в других местах имело место лишь отчасти. В Древней Греции философия началась с рассуждений об устройстве мироздания; философы, создававшие новые учения, были скорее обособленными мудрецами, которых могли окружать немногочисленные ученики[520]. В Римской империи такими движениями стали философские школы вроде стоиков, эпикурейцев и неоплатоников: по крайней мере, в том смысле, что у них были тысячи образованных приверженцев, которые «практиковали» философию не только путем чтения, письма и споров, а в первую очередь через медитацию, диету и упражнения. Однако философские движения в основном ограничивались элитой общества; философия вышла за ее пределы лишь с появлением христианства и других религиозных движений[521]. Подобную эволюцию можно наблюдать и в Индии — от отдельных брахманов, отвергнувших мир, лесных мудрецов и странствующих купцов, выдвигавших теории о природе души или о строении материального мира, до философских движений буддизма, джайнизма, адживики и других, ныне забытых, и, наконец, до массовых религиозных движений, насчитывавших тысячи монахов, святынь, школ и поддерживавших их мирян.

В Китае многие основатели «сотни школ» философии, процветавших в эпоху Сражающихся царств, были мудрецами, скитавшимися из города в город и пытавшимися привлечь внимание правителей, однако другие с самого начала возглавляли социальные движения. У некоторых из этих движений даже не было руководителей, как, например, у Школы земледельцев, анархистского движения крестьянских интеллектуалов, которые создавали эгалитарные общины на независимых территориях, вклинивавшихся между государствами[522]. Моисты, рационалисты, приверженцы равенства, социальной базой которых, видимо, были городские ремесленники, не только выступали против войны и

милитаризма, но и организовывали подразделения военных специалистов, которые активно выступали против конфликтов, отправляясь добровольцами на любую войну, чтобы сражаться с агрессором. Даже сторонники конфуцианства, при всей их приверженности к утонченным ритуалам, на ранних этапах учения были известны прежде всего благодаря их усилиям в области народного образования[523].

## Материализм I: погоня за прибылью

И как это всё понимать? Кампании народного образования той эпохи, возможно, подскажут ответ. В Осевое время впервые в человеческой истории владение письменным словом перестало ограничиваться священниками, управленцами и купцами, став необходимым условием участия в жизни общества. В Афинах считалось само собой разумеющимся, что совершенно неграмотными могут быть только самые неотесанные деревенские мужланы.

Без массовой грамотности не было бы возможно ни появление массовых интеллектуальных течений, ни распространение идей Осевого времени. К его исходу эти идеи создали мир, где даже командующие варварскими армиями, вторгавшимися в Римскую империю, должны были иметь свое мнение по вопросу о таинстве Троицы, а китайские монахи могли проводить время за спорами об относительных достоинствах восемнадцати школ классического индийского буддизма.

Без сомнения, свою роль сыграло и становление рынков, которые не только освободили людей от вошедших в поговорку оков статуса или общины, но и привили им привычку рационального подсчета, оценки вложений и результата, средств и целей — всё это неизбежно отразилось в новом духе рационального исследования, который стал зарождаться в ту же эпоху и в тех же местах. Само слово «рациональный» показательное: оно, разумеется, происходит от *ratio* — сколько иксов превращаются в игреки — своего рода математического расчета, которым прежде пользовались в основном архитекторы и инженеры и основами которого должен был овладеть всякий, кто не хотел быть обманутым на рынке. Однако здесь нужно быть осторожным. В конце концов, деньги сами по себе не были чем-то новым. Шумерские крестьяне и торговцы были способны производить такие расчеты еще в 3500 году до н. э., но, насколько нам известно, никого из них это не поразило настолько, чтобы, подобно Пифагору, сделать вывод о том, что математические пропорции — это ключ к пониманию природы мироздания и движения небесных тел и что все вещи, в сущности, состоят из цифр, не стали они и создавать тайные общества, члены которых делились этим пониманием, спорили, выгоняли и проклинали друг друга[524].

Чтобы понять, что изменилось, следует взглянуть на особый вид рынков, которые стали появляться в начале Осевого времени: безличные рынки, которые родились из войн и на которых даже с соседями можно было обращаться так же, как с чужаками.

В человеческих экономиках мотивация бывает сложной. Когда сеньор дарит что-то вассалу, нет сомнений в том, что он руководствуется искренним желанием принести вассалу пользу, пусть даже это дарение также является стратегическим действием, призванным обеспечить верность, и жестом великодушия, который должен напомнить всем о величии сеньора и

ничтожестве вассала. Противоречия здесь нет. Точно так же подарки среди равных людей обычно отражают любовь, зависть, гордость, злобу, общинную солидарность и десятки других чувств. Спекуляции на эти темы — одно из главных развлечений повседневной жизни. Однако здесь не учитывается тот факт, что самый эгоистичный («обусловленный личными интересами») мотив вполне реален: те, кто рассуждают о скрытых мотивах, скорее всего, будут полагать, что человек, тайно пытающийся помочь другу или навредить врагу, одновременно надеется и сам извлечь из этого выгоду[525]. Всё это вряд ли сильно изменилось со времен появления первых кредитных рынков, на которых стоимость долговой расписки зависела как от размеров имущества выдавшего ее человека, так и от дохода, которым он располагал, однако на нее также влияли мотивы, обусловленные любовью, завистью, гордостью и т. д.

Сделки за наличный расчет с чужаками носили иной характер, особенно тогда, когда торговля проходила на фоне войны, а в основе ее лежало наличие добычи и снабжение солдат; когда зачастую лучше было не спрашивать, откуда взялись товары, выставленные на продажу, и когда никто не был особо заинтересован в налаживании сколь бы то ни было долгосрочных личных отношений. В таких условиях сделки действительно превращаются в подсчет того, сколько иксов соответствуют такому-то количеству игреков, в расчет пропорций, в оценку качества и в стремление извлечь максимальную выгоду. В итоге в Осевое время оформилось новое понимание человеческой мотивации, радикальное упрощение мотивов, которое дало возможность говорить о таких понятиях, как «выгода» и «преимущество», и позволило считать, что именно к этому люди стремятся во всех сферах своего существования, как если бы жестокость войны или безличность рынка просто избавили их от необходимости делать вид, что их могло заботить что-либо другое. Это, в свою очередь, создало представление о том, что человеческую жизнь можно свести к расчету целей и средств, то есть к чему-то такому, что можно изучать, опираясь на те же методы, при помощи которых исследуется притяжение и отталкивание небесных тел[526]. Исходная посылка сильно напоминает ту, на которой основываются современные экономисты, и это не совпадение; в эпоху, когда деньги, рынки, государства и военное дело были столь сильно переплетены друг с другом, деньги требовались для оплаты армий, которые брали в плен рабов, добывавших золото, из которого делали деньги; когда «убийственная конкуренция» часто действительно оборачивалась убийствами, никому и в голову не приходило, что эгоистичных целей можно добиваться мирными средствами. Такое представление о человечестве получает невероятно четкие формы в тех местах Евразии, где появляются монеты и философия.

Это отлично подтверждает пример Китая. Уже во времена Конфуция китайские мыслители говорили о стремлении к выгоде как о главной движущей силе человеческой жизни. Обозначалось оно словом «ли», изначально означавшим зерно, которое удавалось собрать с поля сверх того, что было посеяно (пиктограмма представляет собой снопок пшеницы и нож)[527]. Затем «ли» стало означать торговую прибыль и превратилось в общий термин для «пользы» или «выплаты». Нижеследующая история, которая показывает реакцию купеческого сына по имени Люй Бувей, узнавшего, что рядом живет изгнанный принц, прекрасно иллюстрирует это изменение значения:

Вернувшись домой, он спросил отца:

- Какую выгоду можно получить, вложив средства в обработку полей?
- Десятикратную, — ответил отец.
- А какой будет прибыль от вложений в жемчуг и нефрит?
- Стократной.
- А какой будет прибыль, если посадить на трон правителя и завладеть государством?
- Неисчислимой[528].

Люй принял сторону принца и придумал, как сделать его царем Цинь. Он стал первым министром сына царя, Цинь Шихуана, и помог ему разгромить другие Сражающиеся царства и стать первым китайским императором. Мы располагаем сборником политических изречений, который Люй составил для нового императора и в котором содержатся военные советы такого рода:

“ Когда приходит вражеская армия, она, как правило, стремится получить выгоду. Если же они приходят и сталкиваются с угрозой смерти, они сочтут самым выгодным решением бегство. Когда все враги считают бегство самым выгодным решением, клинки скрещивать не придется.

Это первая истина в военных делах[529].

В таком мире героические представления о чести и славе, обеты богам или желание мести были в лучшем случае слабостями, которыми можно манипулировать. В многочисленных учебниках по искусству управления государством того времени все рассматривалось с точки зрения выгоды и интереса, велись расчеты, как сбалансировать то, что выгодно правителю, с тем, что выгодно народу, и предпринимались попытки определить, когда интересы правителя совпадают с интересами народа, а когда противоречат им[530]. Технические термины, позаимствованные из политики, экономики и военной стратегии («прибыль от капиталовложений», «стратегическое преимущество»), смешивались и переплетались друг с другом.

Преобладающей школой политической мысли в эпоху Сражающихся царств был легизм, который утверждал, что в вопросах государственного строительства принимать в расчет стоит лишь интересы правителя, даже если сами правители недостаточно мудры, чтобы это признать. Как бы то ни было, людьми легко манипулировать, поскольку мотивация у них одинакова: их стремление к выгоде, писал Шан Ян, предсказуемо так же, «как и стремление воды течь вниз»[531]. Взгляды Шана были строже, чем большинства легистов, в том смысле, что он считал, что всеобщее процветание может повредить способности правителя мобилизовать людей на войну, а значит, террор является самым эффективным способом управления, пусть даже он должен представлять в облике закона и справедливости.

Везде, где складывался военно-монетно-рабский комплекс, были политические теоретики, высказывавшие подобные идеи. Каутилья не был исключением: название его книги «Артхашастра» обычно переводится как «наука политики», поскольку дает советы

правителям, но более точным переводом было бы «наука материальной выгоды»[532]. Подобно легистам, Каутилья подчеркивал, что необходимо создать видимость того, что управление — это вопрос нравственности и справедливости, однако, обращаясь к самим правителям, он утверждал, что «войну и мир стоит рассматривать исключительно с точки зрения выгоды»: богатство накапливается для создания более эффективной армии, которая используется для установления господства над рынками и для контроля над ресурсами, что помогает накапливать еще больше богатства, и т. д.[533] В Греции мы уже встречали Фрасимаха. Однако ситуация в Греции была несколько иной. У греческих городов-государств не было царей, а слияние частных и государственных интересов осуждалось и считалось тиранией. Однако на практике это означало, что города-государства и даже политические фракции действовали на основе холодного расчета, так же как индийские и китайские монархи. Последствия знает всякий, кто читал «Мелосский диалог» Фукидида, — в нем афинские военачальники излагают населению прежде дружественного им города рациональные аргументы, объясняющие, почему афиняне решили, что их империи будет выгодно угрожать массовой бойней, если те не согласятся платить им дань, и почему в интересах самих мелосцев подчиниться их требованиям[534].

Поразительной чертой этой литературы является ее бескомпромиссный материализм. Боги и богини, магия и оракулы, ритуалы жертвоприношений, культы предков и даже кастовые и ритуальные статусные системы исчезли или отошли на второй план и теперь считались не целями сами по себе, а простыми инструментами в погоне за материальной выгодой.

Неудивительно, что интеллектуалы, разрабатывавшие такие теории, стремились привлечь влияние правителей. Не очень удивляет и то, что возмущение подобным цинизмом заставило других интеллектуалов поддерживать народные движения, выступавшие против таких государей. Однако, как часто случается, интеллектуалы-оппозиционеры оказывались перед выбором: или принять существующие формы дебатов, или попытаться предложить нечто совершенно иное. Мо Ди, основатель моизма, придерживался первого подхода. Он превратил понятие «ли», или выгоды, в нечто похожее на «общественную полезность» и затем попытался показать, что война по определению является невыгодным занятием. Например, писал он, военные кампании можно проводить только весной и осенью, что приводит к одинаково пагубным последствиям:

“ Если дело происходит весной, люди не смогут провести посевную, если осенью — не смогут сжать урожай. Даже если они упустят всего один сезон, количество людей, которые умрут от холода и голода, будет неисчислимым. Теперь посчитаем также стоимость снаряжения для армии, стрел, боевых знамен, палаток, доспехов, щитов и рукояток для мечей; количество тех, кто падет в бою и не вернется... То же касается волов и лошадей...[535]

Его вывод: если посчитать всю стоимость агрессии, выраженную в жизнях людей и животных и в материальном уроне, то неизбежно приходишь к заключению, что никакие выгоды не могут ее превзойти — даже для победителя. На основе этой логики Мо Ди доходит до утверждения, что единственным способом увеличить общую выгоду человечества является полный отказ от преследования частной выгоды и принятие

принципа, который он называет «всеобщей любовью», полагая, что если доводить принцип рыночного обмена до логического заключения, то он может привести лишь к некоей разновидности коммунизма.

Последователи Конфуция отвергали начальную предпосылку Мо и придерживались противоположного подхода. Хорошим примером является пролог к известному диалогу Мэн-цзы с царем Ху:

“ «Достопочтенный господин, — приветствовал его царь, — раз вы не сочли расстояние в тысячу миль слишком большим, чтобы прийти сюда, могу ли я предположить, что у вас есть нечто, что может принести выгоду моему царству?»

Мэн-цзы ответил:

«Почему ваше величество должно обязательно использовать слово „выгода“? У меня есть лишь эти два вопроса для обсуждения — гуманность и справедливость, и ничего больше»[536].

Однако итог был приблизительно тем же. Конфуцианский идеал «рен», или гуманности, был лишь несколько более полной инверсией расчета с целью получения выгоды, чем всеобщая любовь Мо Ди; главное различие состояло в том, что последователи Конфуция добавили толику отвращения к самому расчету, предпочтя то, что можно назвать искусством вежливости. Позднее этот подход развили даосы с их вниманием к интуиции и спонтанности. Всё это было попытками создать зеркальное отражение логики рынка. Ведь, в конце концов, зеркальное отражение является той же самой вещью, только наоборот. Очень скоро мы оказываемся в лабиринте бесконечных противоположностей (эгоизм против альтруизма, выгода против милосердия, материализм против идеализма, расчет против спонтанности), ни одну из которых нельзя представить, если не начинать с чистых, расчетливых рыночных сделок, преследующих личный интерес[537].

## Материализм II: сущность

“ Нет, как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, кости, кровавистая ткань, сплетение жил, вен, протоков.

Марк Аврелий. Размышления. 2.2

“ Сжалившись над голодным волком, Вень Шуан заявил: «Я не притязаю на этот презренный кусок мяса. Я дам его тебе для того, чтобы приобрести еще более крепкое и выносливое тело. Этот дар принесет пользу нам обоим».

Рассуждения о чистой земле 21.12

Как я уже отмечал, пример Китая необычен, потому что философия здесь началась со споров об этике и лишь затем перешла к рассуждениям о природе Вселенной. В Греции и в Индии всё началось с рассуждений о мироздании, а вопросы о природе физического мира быстро открыли путь к размышлениям о разуме, правде, сознании, значении, языке, иллюзии, мировом духе, космическом разуме и судьбе человеческой души.

Этот необычный, сложный лабиринт зеркал так ослепляет, что очень трудно определить исходную точку, то есть то, что именно в этих зеркалах отражается. Здесь на помощь может прийти антропология, поскольку у антропологов есть уникальное преимущество, заключающееся в том, что они могут наблюдать первую реакцию людей, прежде не участвовавших в этих спорах, на понятия Осевого времени. В отдельные моменты мы с необычайной ясностью осознаем, что сущность нашего мышления полностью противоположна тому, что мы привыкли себе представлять.

Католический миссионер Морис Леенхардт, много лет проповедовавший Евангелие в Новой Каледонии, испытал это ощущение в 1920-е годы, когда спросил одного из своих учеников, пожилого скульптора по имени Бусоу, как тот воспринимал духовные идеи, с которыми ознакомился:

“Однажды, желая определить уровень умственного прогресса канаков, которых я учил много лет, я рискнул задать следующий вопрос: «Если коротко, мы привнесли понятие духа в ваш образ мышления?»

Он возразил: «Духа? Да что вы! Дух вы нам не привнесли. Мы и так знали, что он существует. Мы всегда действовали в соответствии с духом. Вы привнесли нам идею тела»[538].

Представление о том, что у людей есть душа, казалась Бусоу очевидной. Представление о том, что существовала такая вещь, как тело, отделенное от души, простой материальный набор нервов и тканей, — не говоря уже о том, что тело является тюрьмой души и что при помощи умерщвления плоти можно было прославить или освободить душу, — всё это, как оказалось, поразило его, поскольку было новым и экзотичным.

Иными словами, краеугольным камнем духовности Осевого времени был материализм. В этом ее секрет; можно сказать, что для нас этот факт стал невидимым[539]. Но если взглянуть на истоки философских изысканий в Греции и Индии, когда еще не было разницы между тем, что мы сегодня назвали бы «философией», и тем, что именовалось бы «наукой», то именно это мы и обнаружим. «Теория», если ее можно так назвать, начинается с вопросов: «Из чего сделан мир?», «Что является материей, лежащей за пределами физической формы объектов в мире?», «Всё ли сделано из различных сочетаний некоторых основных стихий (земли, воздуха, воды, огня, камня, движения, разума, цифры...), или же эти основные формы суть лишь форма, в которую облекается еще более элементарная субстанция (например, атомные частицы, как считала школа Ньяя и позднее Демокрит...)?»[540]. Во всех случаях появилось понятие Бога, Разума, Духа, некоего активного организующего принципа, который придавал сущему форму и сам не был субстанцией. Но такой вид духа, как Бог Леенхардта, возникает только в связи с инертной

материей[541].

Увязывание и этого импульса с изобретением монет может показаться чрезмерным, но, по крайней мере в том, что касается изучения Античности, недавно возникло целое научное направление, которое стремится именно к этому. Начало ему положил Марк Шелл, литературовед из Гарварда, а продолжил британский специалист по Античности Ричард Сифорд, недавно издавший книгу «Деньги и древнегреческий разум»[542].

Некоторые события в истории связаны столь тесно, что очень трудно объяснить их иначе. Приведу пример. После изготовления первых монет в Лидийском царстве около 600 года до н. э. чеканка быстро распространилась в Ионии, то есть в прибрежных греческих полисах. Крупнейшим из них был Милет, большой, окруженный крепостной стеной город, из которого вышла основная часть греческих наемников, воевавших в ту эпоху в Средиземноморье: Милет был их главным штабом. Милет также был торговым центром региона и, возможно, первым городом в мире, где повседневные рыночные операции стали осуществляться при помощи монет, а не в кредит[543]. В свою очередь, начало греческой философии положили три человека: Фалес из Милета (624–546 годы до н. э.), Анаксимандр из Милета (610–546 годы до н. э.) и Анаксимен из Милета (585–525 годы до н. э.) — иными словами, люди, которые жили в городе как раз тогда, когда впервые появилась чеканка[544]. Все трое запомнились прежде всего рассуждениями о природе физической первоосновы, из которой возник мир. Фалес предложил в этом качестве воду, Анаксимен — воздух. Анаксимандр придумал новый термин «апейрон», или «неограниченное», чисто абстрактная субстанция, которую невозможно заметить, но которая является материальной основой всего сущего. Все трое исходили из того, что первооснова, когда ее нагревали, охлаждали, соединяли, делили, сжимали, растягивали или придавали ей движение, порождала бесконечное число отдельных вещей и веществ, которые люди могли видеть, — из этой первоосновы состоят физические предметы и в нее же, распадаясь, возвращаются.

Это было нечто, что могло превратиться во что угодно. Как подчеркивает Сифорд, то же можно сказать о деньгах. Золото, обращенное в монеты, является материальным веществом и в то же время абстракцией. Оно одновременно и какое-то количество металла, и нечто большее — драхма или обол, денежная единица, которую (по крайней мере, если собрать ее в достаточном количестве, перевезти в правильное место в правильное время и передать правильному человеку) можно обменять абсолютно на любой предмет[545].

По Сифорду, абсолютной новизной монет была их двузначность; тот факт, что они были в одно и то же время ценными кусочками металла и чем-то большим. По крайней мере, в производивших их сообществах древние монеты всегда стоили больше, чем золото, серебро или медь, из которых они изготавливались. Сифорд определяет эту добавочную стоимость не очень изящным термином «фидуциарность», изначально обозначающим доверие, которым общество облакает свои деньги[546]. Конечно, в античной Греции, где были сотни городов-государств, чеканивших различные монеты в соответствии с множеством разных систем мер и весов, купцы часто возили с собой весы и обращались с монетами — особенно с иностранными — как с серебряными болванками, так же как индийские купцы относились к римским монетам; однако в самом городе чеканившиеся им деньги обладали особым статусом, поскольку их всегда принимали по номинальной стоимости при уплате налогов,

пеней или наложенных судом штрафов. Кстати, именно поэтому древние правительства так часто добавляли неблагородные металлы в монеты, не опасаясь немедленной инфляции; испорченные монеты могли терять свою стоимость в заморской торговле, но дома, когда речь шла о покупке разрешения или билета в общественный театр, они ее сохраняли[547]. Именно поэтому в чрезвычайных обстоятельствах греческие города-государства выпускали монеты, полностью изготовленные из бронзы или олова, и все соглашались принимать их за серебряные до тех пор, пока чрезвычайное положение сохранялось[548].

Это ключевой момент в рассуждениях Сифорда о материализме и греческой философии. Монета была кусочком металла, но, придавая ему особую форму, штампуя на нем слова и изображения, сообщество граждан соглашалось превратить его в нечто большее. Однако сила монет не была безграничной. Бронзовые монеты не могли использоваться вечно; порча монеты рано или поздно приводила к инфляции. Возникло своего рода противоречие между волей сообщества и физической природой самого предмета. Греческие мыслители неожиданно столкнулись с совершенно новым объектом, который имел огромную важность, что подтверждается тем, что так много людей были готовы рисковать жизнью, чтобы его заполучить, но природа которого оставалась загадочной.

Обратимся к слову «материализм». Что значит принять «материалистическую» философию? Что вообще такое «материал»? Обычно мы говорим о «материалах», когда речь идет о предметах, из которых мы хотим сделать что-то еще. Дерево — живое существо. Оно становится «древесиной», когда мы начинаем думать обо всех прочих вещах, которые из него можно выточить. Разумеется, из куска древесины можно сделать почти всё что угодно. То же касается глины, стекла или металла. Это твердые, реальные и осязаемые вещества, но они также являются абстракциями, потому что их можно превратить практически во что угодно; впрочем, не совсем так: кусок древесины нельзя превратить во льва или в сову, но из него можно сделать изображение льва или совы — он может принять почти любую мыслимую форму. Так же и в любой материалистической философии мы имеем дело с противопоставлением формы и содержания, сущности и образа; со столкновением между идеей, знаком, эмблемой или моделью, существующими в воображении творца, и физическими свойствами материалов, на которых они изображаются, на которые наносятся или из которых воплощаются в реальность[549]. Когда дело касается монет, это доходит до еще более абстрактного уровня, потому что в этом случае эмблему нужно воспринимать уже не как модель головы какого-то человека, а скорее как символ коллективного соглашения. Изображения, чеканившиеся на греческих монетах (милетский лев, афинская сова), были типичными эмблемами богов данного города, но они также были своего рода коллективным обещанием, посредством которого горожане уверяли друг друга, что монеты не только будут приниматься в уплату долгов перед государством, но и — в более широком смысле — будут принимать все, в уплату любых долгов, а значит, что их можно использовать для приобретения всего чего угодно.

Проблема в том, что такая коллективная сила не может быть безграничной. Она действует лишь в пределах города. Чем дальше вы от него удаляетесь в места, где царит насилие, рабство и война, то есть такие места, где даже философы, отправившиеся на морскую прогулку, могут оказаться на невольничьем рынке, тем больше монета превращается в простой кусочек драгоценного металла[550].

Война между Духом и плотью, между благородной Мыслью и уродливой Реальностью, противостояние рационального ума и неистребимых порывов и желаний тела, которые ему сопротивляются, и даже мысль о том, что мир и общество не возникают спонтанно, а должны штамповаться на нашей низменной материальной природе подобно тому, как символы божества чеканятся на низменном металле, — все эти идеи, которые терзали религиозные и философские традиции Осевого времени и не переставали удивлять людей вроде Бусоу, могут быть вписаны в природу новой формы денег.

Было бы безумием утверждать, что вся философия Осевого времени была просто размышлением о природе монет, но, на мой взгляд, Сифорд правильно считает, что это было ключевой исходной точкой, одной из причин, почему досократики стали задавать вопросы в столь специфической форме, например: что такое мысли? Являются ли они обыкновенными коллективными условностями? Существуют ли они, как утверждал Платон, в некоей божественной сфере за пределами материального мира? Или же они существуют в нашем разуме? Или наш разум сам является частью нематериальной божественной сферы? И если это так, то что это говорит о нашем отношении к нашим телам?

\*\*\*

В Индии и Китае споры протекали в иных формах, однако и там исходной точкой был материализм. Идеи самых радикальных материалистических мыслителей нам известны из трудов их интеллектуальных противников: например, идеи индийского царя Паяси, который любил спорить с буддистскими и джайнистскими философами, утверждая, что души не существуют, человеческие тела лишь особые сочетания воздуха, воды, земли и огня, а сознание возникает из взаимодействия стихий и что, когда мы умираем, стихии просто распадаются[551]. Однако ясно, что такие идеи были общим местом. Даже в религиях Осевого времени зачастую отсутствует изобилие сверхъестественных сил, которое можно наблюдать до и после: это показывают постоянные споры о том, является ли вообще буддизм религией, если он отвергает понятие высшего существа, или о том, были ли наставления Конфуция о необходимости почитания своих предков просто попыткой поощрить сыновью почтительность или же основывались на вере в то, что умершие предки в определенном смысле продолжают существовать. Сам факт того, что мы задаем подобные вопросы, многое проясняет. В то же время до сего дня из той эпохи — в институциональных категориях — сохранились именно так называемые мировые религии.

Таким образом, мы наблюдаем странное движение вперед и назад, нападения и ответные удары, из-за которых рынок, государство, война и религия постоянно отделяются друг от друга и снова сливаются воедино. Я попытаюсь резюмировать это максимально кратко.

1. Рынки, по-видимому, впервые появились на Ближнем Востоке как побочный эффект правительственных административных систем. Однако с течением времени логика рынка переплелась с военной сферой и стала почти неотличимой от наемнической логики Осевого времени; наконец эта логика покорила и сами правительства, начав определять их собственные цели.

2. В результате везде, где мы наблюдаем становление военно-монетно-рабского комплекса, возникают и материалистические философские учения — материалистические в обоих смыслах этого слова: в утверждении о том, что мир создан материальными, а не божественными силами, и в представлении о том, что конечной целью человеческого существования является накопление материального богатства, а идеалы вроде нравственности и справедливости являются лишь инструментами, предназначенными для удовлетворения масс.

3. Везде мы обнаруживаем философов, которые в ответ разрабатывали идеи о человечности и душе, пытаясь найти новые основы для этики и нравственности.

4. Везде некоторые из этих философов выступали заодно с социальными движениями, которые неизбежно стали возникать как протест против новой, невероятно жестокой и циничной, элиты. В результате возникло новое в истории явление — народные движения, которые также были движениями интеллектуальными, поскольку считалось, что те, кто выступает против существующей власти, также придерживаются некой теории о природе реальности.

5. Везде эти движения были прежде всего мирными, поскольку отвергали новое понимание насилия, особенно агрессивной войны, как основы политики.

6. Везде изначально имелся стимул к тому, чтобы использовать новые интеллектуальные инструменты, созданные безличными рынками, для выстраивания новой основы нравственности, и везде эти попытки провалились. Легизм с его понятием социальной выгоды недолго процветал, а затем сошел на нет. Ему на смену пришло конфуцианство, решительно отменявшее подобные идеи. Мы уже видели, что переосмысление нравственной ответственности в категориях долга — такие попытки предпринимались и в Греции, и в Индии — хотя и было неизбежным в данных экономических обстоятельствах, везде оказалось неудовлетворительным[552]. Более сильным был стимул к тому, чтобы представить другой мир, где долг, а с ним и все прочие мирские связи может быть полностью уничтожен, где социальная привязанность считается неволей, а тело — тюрьмой.

7. Отношение правителей к этим идеям с течением времени менялось. Сначала большинство из них были ошарашены новыми философскими и религиозными движениями и проявляли к ним терпимость, хотя на практике придерживались циничной реальной политики в той или иной форме. Но когда на смену враждующим городам и княжествам пришли великие империи и особенно когда экспансия этих империй достигла предела, вызвав кризис военно-монетно-рабского комплекса, всё резко изменилось. В Индии Ашока попытался перестроить свое государство на основе буддизма; в Риме Константин обратился к христианству; в Китае У Ди, император династии Хань (157–87 годы до н. э.), столкнувшись со схожим военным и финансовым кризисом, принял конфуцианство в качестве государственной философии. В конечном счете из всех троих лишь У Ди удалось добиться успеха: Китайская империя продержалась в той или иной форме две тысячи лет, а конфуцианство оставалось ее официальной идеологией на протяжении почти всего этого времени. В случае Константина Западная Римская империя развалилась, однако римская церковь выстояла. Проект Ашоки можно назвать самым неудачным. Его империя развалилась, на ее руинах выросло

бесконечное множество слабых и, как правило, раздробленных царств, а буддизм был вытеснен со своей изначальной территории, хотя и сумел закрепиться намного прочнее в Китае, Непале, Тибете, на Шри-Ланке, в Корее, Японии и в значительной части Юго-Восточной Азии.

8. Итогом стало своего рода идеальное разделение сфер человеческой деятельности, которое сохраняется и по сей день: с одной стороны, рынок, с другой — религия. Грубо говоря, если кто-то отводит определенное социальное пространство просто эгоистичному приобретению материальных вещей, почти неизбежно появление другого, кто обозначит иное пространство, где будет проповедовать, что с точки зрения вечных ценностей материальные вещи неважны, эгоизм — или даже «эго» — лишь иллюзия и что давать лучше, чем получать. Во всяком случае, показательно, что все религии Осевого времени подчеркивают важность милосердия, понятия, которое прежде фактически не существовало. Чистая жадность и чистая щедрость — взаимодополняемые понятия; одно невозможно представить без другого; оба могли появиться лишь в институциональной среде, насаждавшей такое чистое и однозначное поведение; и оба, судя по всему, появлялись вместе везде, где на сцену также выходили безличные, физические, наличные деньги.

Что же касается религиозных движений, то было бы довольно легко описать их, сказав, что они придерживались эскапизма, обещали жертвам империй Осевого времени освобождение в другом мире, чтобы заставить тех принять свою долю в этом мире, и убеждали богатых, что бедным надо всего лишь иногда подавать милостыню. Радикальные мыслители неизменно так религии и описывают. Безусловно, тот факт, что впоследствии сами правительства примкнули к подобным учениям, казалось бы, подтверждает этот вывод. Однако проблема сложнее. Прежде всего нужно кое-что сказать об эскапизме. Народные бунты в Древнем мире обычно заканчивались массовой расправой над повстанцами. Как я уже отмечал, физическое бегство в виде исхода или обособления всегда было самым эффективным ответом на угнетение с самых древних времен. А что именно должен делать угнетенный крестьянин там, где физическое бегство невозможно? Сидеть и созерцать собственную нищету? Религии, обещавшие иной мир, хотя бы предлагали радикальную альтернативу. Зачастую они позволяли людям создавать иные миры в этом мире, освобождали те или иные пространства. Безусловно, показательно, что в Древнем мире искоренить рабство удалось только религиозным сектам, таким как ессеи: они сумели это сделать, обособившись от социального порядка и создав собственные утопические общины[553]. Или можно обратиться к примеру более мелкого сообщества, которое, однако, оказалось намного более живучим: со временем все демократические города-государства Северной Индии были ликвидированы великими империями (Каутилья дает подробные рекомендации, как подрывать и уничтожать демократическое устройство), однако Будда восхищался демократической организацией народных собраний и взял ее за образец для своих последователей[554]. Буддистские монастыри по-прежнему называются «сангха», как некогда назывались такие республики, и по сей день функционируют на основе поиска консенсуса, сохраняя определенный демократический идеал равенства, который в других местах был полностью забыт.

Наконец, более крупные исторические достижения этих движений не так уж малозначительны. Когда они возникли, ситуация стала меняться. Войны стали менее

жестокими и частыми. Институт рабства постепенно угас, настолько, что в Средние века он перестал иметь значение или вовсе исчез в большей части Евразии. Кроме того, повсюду новые религиозные власти стали всерьез заниматься социальными проблемами, порожденными долгом.

---

Версия #1

Зверобой создал 26 июня 2025 23:25:07

Зверобой обновил 26 июня 2025 23:32:06